

Глава II. Школа, навсегда определившая мой внутренний мир

Начало юности связано у меня с 1-й Опытной школой им. Горького - одной из трех самых элитарных тогда в Москве.

Как я в нее попал? Это опять заслуга матери, которая, несмотря на провал сделать из меня знаменитого музыканта и обучить в совершенстве двум языкам, не оставляла все-таки надежды добиться от меня чего-то необыкновенного. Она сама училась в необычной школе, созданной двумя знаменитостями своего времени - Шацким (зачинателем массового светского школьного образования в России) и Зеленко, архитектором, близким по стилю Шехтелю. По его проекту и было построено здание для этой школы в Вадковском переулке (близ Савеловского вокзала) - "модерн" начала века. Оно и сейчас стоит, приспособленное под офис какими-то коммерческими структурами.

В начале 30-х годов, после "замечаний Сталина-Кирова-Жданова" к учебнику истории СССР, отказались от экстравагантных экспериментов и решили вернуться к российской классике в области образования (известно, что постановка гимназического образования в России в конце XIX века была одной из лучших в мире). Сталину нужны были кадры. Но помимо перевода всей школьной системы на новый лад - наряду с массовым строительством стандартных школьных зданий (что, конечно, достижение, которое трудно перечеркнуть) - в Москве были учреждены три сверхобразцовых школы. Одна из них - "1-я Опытная" - в том самом здании Зеленко, где мама училась до гимназии.

Директрисой там была назначена бывшая классная дама школы Шацкого Клавдия Васильевна Полтавская. Женщина невысокого роста, с огромной седой головой, конечно, с пучком, с лицом совы в мелких-мелких морщинках. Ходила она неизменно в темно-сером длинном пиджаке, под ним - темная кофта, на которой на длинном шнурке болталось пенсне. Юбка до щиколоток, из под которой выглядывали маленькие ножки в зашнурованных ботинках: такие тогда можно было увидеть только на старинных фото или в кино.

Это была строгая, но добрая, мудрая женщина. Ее боялись и безмерно, до почитания, уважали. И, наверно, одной из сталинских причуд было

поручить такую школу человеку беспартийному, "из бывших", в лучшем случае нейтральному по отношению к советским ценностям. В том, что она "не без ведома" оказалась во главе такой школы, можно было наглядно убедиться, хотя бы наблюдая как она расхаживает по школьному двору с Бубновым, наркомом просвещения, который нередко нас навещал.

Было лето 1935 года. Я кончил семилетку в Вышеславцевском переулке. Продолжения все равно не было, вот мать и пошла к Клавдии Васильевне просить за меня. "Клавдюша" (как мы ее тайком называли) согласилась. Но надо было сдать приемные экзамены (кажется, по восьми предметам). Моя бывшая школа была из рядовых, не Бог весть как я был "образован" для поступления в элитарную. Выдержал экзамены едва-едва, на пределе¹.

Школа эта была необыкновенная во всех отношениях. Внутри деревянные лестницы разной ширины; ни одной похожей на другую. Классные комнаты - нечто невиданное тогда: кабинеты физики, биологии, химии. Библиотека, не тронутая ни спецхраном, ни цензурой - философские, богословские, исторические книги дореволюционных изданий. Весь Достоевский, который тогда был чуть ли не под запретом (для школьных программ во всяком случае). Никаких парт, вместо них - длинные черные столы и общие, на шесть человек, скамейки.

Не было параллельных классов - один 7-й, один 8-й, 9-й, 10-й. Начальные классы - до 6-го - учились в другом здании, по-соседству, на углу Вадковского и Тихвинской улицы.

В каждом классе было около пятнадцати учеников. Большая перемена длилась два часа. Хочешь - готовь уроки, хочешь читай, хочешь носись на огромном школьном дворе с мячом, а зимой - снежки, снежные бабы и горки. Нам тогда казалось, что именно мы изобрели игру, которая лишь после войны вошла в спортивный мир под названием гандбол - ручной мяч. И "автором" ее был Феликс Зигель (Фелька), будущий известный астроном и зачинатель научной "охоты" за НЛО. У него была настоящая обсерватория в

¹ Как я потом понял, Клавдюша учитывала, конечно, результаты экзаменов. Но не всегда с ними считалась. У нее был свой подход к формированию классов: она разбавляла "элитный" контингент ребятами из самых простых семей, живущих поблизости от школы. Но и из "элитных" тоже выбирала. Например, Лильку Маркович из семьи австрийского инженера-эмигранта взяла в 7-й класс, хотя та умудрялась в слове из трех букв "еще" делать четыре ошибки ("есчьо"). А стала она потом знаменитой переводчицей со шведского и французского, блестящей стилисткой. Фамилия ее теперь Лунгина. Жена известного киносценариста, и оба ее сына тоже знаменитые киношники.

башне с куполом и телескопом. Она и сейчас возвышается над одним из углов бывшей нашей школы. Феликс там был полным хозяином. Что-то наблюдал, что-то записывал, на переменах иногда ловил кого-нибудь из нас и, схватив за грудки, заставлял слушать, что там, в небе, происходит. По винтовой лесенке мы, бывало, взбегали к нему в башню, - главным образом, чтобы подсмотреть что делается не на небе, а в окнах ближайших домов. Феликс был высокий, здоровенный, с большой "скульптурной" головой, заводила и выдумщик. Бравурно играл на рояли, сам пел "специально" гнусавым голосом блатные песенки или "изображал" в музыке какие-нибудь самые не подходящие для этого сюжеты, например, "чартистское движение в Англии". Темперамента он был неумеренного. Однажды поразил таким трюком: подошел к двери, взялся руками за ручки якобы по обеим ее сторонам и сильными движениями стал, казалось, биться лбом о косяк. Мы не сразу сообразили, в чем дело: оказывается одной рукой с невидимой нам стороны он за ручку не держался, а в такт движению головы ударял ею по двери. Потом мы сами стали проделывать то же самое. "Клавдюшу", которая однажды застала Феликса на перемене за этим занятием, чуть столбняк не хватил. Феликс смущенно стоял перед ней. Она не расхохоталась (мы вообще никогда не видели ее смеющейся). Но зато ее редкая улыбка - как благословение Господнее, сказали бы верующие. С такой улыбкой она и сделала ему внушение.

Я отвлекся. Но, может, это помогает избавляться от обычно надоедающей последовательности.

Об учителях. Они все были пожилые. Позже не у меня одного сложилось устойчивое мнение о них как об уцелевших от прежних гимназий... За исключением историка Бориса Ивановича Леонтьева, в преподавании которого - и только у него - чувствовалась, впрочем ненавязчивая, партийность. Другие же, всем своим поведением, манерами, обращением с нами создавали атмосферу, где специфически "советское" почти не ощущалось. А уровень преподавания (и требований) был такой, что пользоваться официальными учебниками, например, по литературе считалось просто "неприличным".

Явно талантливых было, пожалуй, двое. Петр Яковлевич Дорф ("Петракл") - математик и Сергей Андреевич Смирнов ("Сердрей") -

литератор. До них в нашем 8-ом были другие - Евгений Федорович Герсков и Александра Петровна Петропавловская. Первый был сангвиник и златоуст, мастерски превращал геометрию, тригонометрию и даже алгебру в нечто зримо ощущаемое. Искусно и быстро действовал он мелом на доске, изображая даже бытовые сценки, чтобы лучше запоминался ход его доказательств.

"Евгеша", так он звался у нас, был "душка" и весельчак, виртуозно владевший своим предметом - причем сам любовался, как это у него получается. Был щедр на похвалы. Когда кто-то удачно доказывал теорему или интересно решал задачу, Евгеша выражал неподдельный восторг и одаривал "виновника" комплиментами. На всю жизнь запомнилось: однажды я, отнюдь не будучи первым в математике, быстрее всех и очень экономно, "элегантно" (как выразился Евгеша) решил сложную тригонометрическую задачу. А Илюшка Пинскер, номер один в математике, а также Острцов, Зигель, Бабичков - следующие "номера", долго пыхтели и пришли к решению очень сложным путем. Евгеша не мог унять себя, расхваливая меня, особенно напирая на то, что даже он сам не мог предположить, что существует такое красивое решение.

В 9-м классе вместо Евгешы появился Петракл. Яйцевидный лысый череп, черные острые глаза под вскинутыми бровями, седоватые усы. Весь он был как-то "на конус": коротковатые, сужающиеся книзу брючки над штiblетами с крючками для шнурков, подчеркивали это впечатление.

Несмотря на то, что его предшественник был яркой личностью, Петракл нас быстро покори́л, причем навсегда. Возможно, Евгений Федорович был сильнее как математик. Но Петр Яковлевич превосходил его как педагог - высочайшего класса. Если Евгеша орудовал мелом на доске, то у Петракла был целый ящик всяких математических моделей, конструкций и фигур. Этот "сундук" с двумя ручками входило в обязанность носить из учительской в класс и обратно Пинскеру и Лике Гордон, что они весело и проделывали, сопровождаемые остротами остальных.

Петракл хорошо учил нас математике. Умел увлечь скрытыми в ней тайнами, тренировал наш мозг на необычных задачах и теоремах - далеко за пределами учебной программы. Знакомил с азами высшей математики. Этот предмет стал самым интересным для большинства класса. Одновременно

Петракл - каким-то незаметным способом - "внедрял в нас" основы порядочности и чести. Нередко разговаривал с нами на уроках совсем на не математические темы. И если завязывался спор между нами - аккуратно дирижировал, останавливая репликами, кого-то поддерживая, с кем-то полемизируя, но не поучал, не навязывал. Бывало, речь заходила и о политике, но никогда это не превращалось в политбеседу. Не выходя за рамки дозволенного, Петракл умел держаться на уровне "абстрактной" гуманистической гражданственности. Он, пожалуй, больше, чем кто-либо из учителей, - конечно, в атмосфере, создаваемой Клавдьюшей, - учил нас быть гражданами, не применительно к существующему строю, а в декабристском смысле слова.

Петракл приучал нас к деликатности и ответственности в отношениях друг с другом умением выделить каждого и вместе с тем не обидеть незаслуженной "привязанностью" к более интересным и способным. Его моральный авторитет был настолько всепроникающ, что начисто исключались подказки, переписывание, шпаргалки. В отличие от общепринятого в школьной жизни, отторгалось не то, что ты не помог товарищу в нужный момент, а то, что мог допустить саму возможность обмана учителя.

Петр Яковлевич улыбался одними глазами. Лицо его оставалось серьезным при любых обстоятельствах. Замечания он нам делал всегда в иронической, обычно остроумной форме. И обращенные к кому-то конкретно, они "усваивались" всеми. Были у него и просто смешные экспромты. Например, решаем какую-то алгебраическую задачу. Илюшка Пинскер, которому сразу "все ясно", перегнувшись всем корпусом к соседке и пытаясь, как всегда безуспешно, держать хотя бы полуоткрытым свой огромный рот (закрыть его полностью ему никогда не удавалось), что-то бурно шепчет. Петр Яковлевич громко: "Илюша! Приведите себя к виду, удобному для логарифмирования". Общий хохот. Потому что (кто помнит со школы) - это чисто математическое действие, обозначающее подготовку данных к получению результата...

Литераторшу в 9-м классе сменил Сергей Андреевич Смирнов ("Сердрей"). Он был красив, элегантен, с пробором на слегка рыжеватой голове и бородкой клинышком - щеголь, одним словом. Лет сорока (потом

стал членом Академии педагогических наук). Вот уж поистине - ничего в его занятиях не было занудно школярского, отваживающего от литературы, о чем обычно вспоминают большинство окончивших тогда и после советскую школу. В отличие от Петракла Сердрей, казалось, не интересовался "состоянием наших душ", был нейтрален к нашим внутриклассным взаимоотношениям, хотя, судя по его ироническим репликам и насмешливым взглядам, "все видел". По нашим представлениям он в литературе знал все и с блеском доносил это "все" до учеников. Он будто самовыражался, выплескивая свои знания на нас, зажигал каким-то сдержанно страстным отношением к тому, что "проходили", и выводил нас далеко за пределы программы.

Помнится, он целый урок посвятил одному только эпиграфу к "Анне Карениной": "Мне отмщение, и Аз воздам". И вызвал бурную дискуссию, после которой мы много дней не могли успокоиться. Символистов, благодаря Сердрею, мы знали не только по Брюсову и Блоку. Он раскрыл перед нами все оттенки и весь смысл этого великого явления в духовной жизни России... А потом - акмеисты, футуристы. Благодаря Сердрею мы были захвачены поэтической стихией "серебряного века", так чуждой всему тому, что нас окружало в быту и в политической действительности второй половины 30-х годов. От Сологуба, Северянина, того же Блока очень трудно было мне, например, переключиться на Маяковского. Да и дома его отвергали, мама "предметно" высмеивала. Но Сердрей убедил меня в его величии, в его гениальности, именно по контрасту с тем, что сам же заставил полюбить у предшественников Маяковского.

При некотором нарциссизме, впрочем простительном в красивом и интеллектуально богатом человеке, Сердрей был педагог. Он видел особенности, если не каждого из нас, то многих - тех, кто его чем-то когда-либо заинтересовал. И реагировал на эти особенности, выделял их, но не противопоставлял одних учеников другим, не создавал ситуации зависти или обиды. Он мог, лукаво и по доброму улыбаясь, похвалить очередную посредственность - класс улавливал и одобрял эту его педагогическую снисходительность. Он ценил лаконичность и самостоятельность в ответах и сочинениях моего друга Вадима Бабицкого. На полутора-двух страничках Вадим умел сказать больше и интереснее, чем другие на десяти. Видел

незаурядность, яркую парадоксальность мысли будущего поэта - Дезьки Кауфмана. Одобрительно, но скучновато воспринимал "исчерпывающие", но лишённые личного начала выступления нашего первого ученика по всем предметам энциклопедиста Жорки Острцова. Не скрывал, что ему нравятся эмоциональные, сверкавшие эрудицией самоуверенные пассажи Лильки Маркович. Когда разгорался спор вокруг какого-нибудь сюжета или поведения литературного героя, он упорно не замечал нетерпеливо тянущуюся руку Лики Гордон... и "выпускал" ее под занавес. Ее умные, агрессивные, "не подлежащие возражению" оценки "предыдущих ораторов" под общий смех (каждый получил свое!) использовал как эффективную концовку своего "педагогического приема".

В отношениях Сердрея со мной запомнились три эпизода. Однажды я стал доказывать, что Горький любит своих героев - капиталистов (проходили "Дело Артамоновых"). По тем временам это была ересь. Ребята подняли меня на смех. Но Сердрей серьезно сказал: "Мы еще не знаем всего Горького". Все решили, что он вроде бы меня косвенно поддержал, но лишь много позже я понял, что он имел ввиду: Горький не был так прост и "однозначен", каким подавался официально.

Другой случай: по "Герою нашего времени" я писал большое домашнее сочинение. Оно долго у меня не получалось. Длинными вечерами, вымучивая мысли, ходил взад - вперед из маленькой комнаты до кухни между сундуком, умывальником и печкой. Вычитывал про роман из разных книг. Особенно мне понравилось, как было написано в гимназическом учебнике моей матери. И грешным делом кое-что оттуда сдул, рассчитывая, что "не заметит". Сердрей похвалил... и добавил: "Молодым людям иногда кажется, что старые книги, которые им случается читать, больше уже никто не помнит". Я сгорал от стыда. Спасло меня то, что этого учебника никто в классе действительно не держал в руках, а Сердрей меня не "продал".

И еще один урок я получил от него, хотя усвоил его позже, когда писать пришлось много, почти каждый день. В сочинениях я был многословен и, стремясь полнее и законченнее выразить то, что хотелось, нанизывал громоздкие фразы со многими придаточными предложениями, иногда на целый абзац, даже на полстраницы. Сердрей однажды сказал: "Толя! Читайте Пушкина. Читайте и раз, и два, и три "Капитанскую дочку".

Решив, что получил ключ, я, придя домой, бросился к Пушкину. Но через десяток страниц "Капитанской дочки" мне стало скучно. Простота гениальности мне показалась примитивом. Нет! Так писать не научишься, решил я. К "Капитанской дочке", как к хрестоматийной и бессмертной классике для любого сочинительства, даже на политические темы, я вернулся лишь лет через двадцать. Но помня напутствие учителя, пытался заимствовать стилистику то у Эренбурга, то у Хэмингуэя, то у Бабеля, то у Чехова (которого я, кстати, тоже по-настоящему оценил далеко не в юношескую пору). Я принялся писать короткими фразами. Получалось убого и пародийно. Дезька "усек" это и сочинил "шарж" - на страничке не было ни одной фразы больше, чем из двух слов. Показал мне. Я захохотал. Тогда он на перемене прочел вслух ребятам, предлагая угадать, что это такое. Угадали: последнее Толедино сочинение. Веселились. Но я запомнил!

Борис Иванович Леонтьев - историк. У него всегда было очень серьезное лицо интеллигентного инженера. Он казался высоким, когда сидел за столом, но, поднявшись, обнаруживал непропорционально короткие ноги. Клички ему мы не придумали. Учил нас, читая, собственно, лекции. Учебника тогда не было. Поощрял, когда мы сами доставали старые, дореволюционные учебники, из которых можно было узнать факты, получить представление об исторических деятелях. Ну а "классовый подход" нами воспринимался как набор обязательных оценок, которыми Борис Иванович нас снабжал, но и не придирался, когда мы о них забывали. Будучи, видимо, единственным среди наших учителей членом партии, он вносил в нашу, в общем беззаботную насчет политики жизнь, тревоги происходившего в стране. Но ненависти к "врагам народа" нам не прививал.

Запомнился такой эпизод: однажды утром, первый урок - история. Борис Иванович вошел в класс с опозданием минут на десять. Увидев его, мы насторожились. Он был мрачен и чаще обычного перебирал губами (была у него такая привычка). Несколько долгих секунд молча стоял за своим столом, оглядывая нас одного за другим. Мы не сиделись.

- Вчера ушел из жизни еще один честный большевик, - сказал он тихо, но внятно, с паузой перед словом "честный". - Умер Серго Орджоникидзе.

Не помню, как он нам объяснял позже арест Бухарина. Но я, Дезька и Вадик задали ему недоуменные вопросы: как же, мол, так, совсем недавно

мы читали статьи Бухарина в связи со смертью Горького и это считалось "последним словом" в оценке великого пролетарского писателя; Бухарин был докладчиком на первом съезде писателей, его любил Ленин... На другой день мы втроем были вызваны к Клавдюше на дом. Стоим у двери.

- Хороши! - произнесла она. - Так вот: я ничего не знаю, никто ничего не слышал и вы ничего не говорили - ни на уроках, ни на переменах! Поняли? Ступайте. А ты (обращаясь ко мне) приходи завтра отца.

На следующий день отец, вернувшись с работы, только сообщил, что виделся с Клавдией Васильевной. Мать вся напряглась при этих словах, но мне об их беседе не было сказано ни слова. Только мама с беспокойством наблюдала, как я, придя из школы, раскладывал на столе в гостиной газеты с "простынями" обвинительных речей Вышинского.

Конечно, я не понимал всего значения происходящего. Но не поверил ни на секунду в то, о чем писали газеты и кричало радио. Когда вскоре посадили Нину Гегечкори (после ареста ее отца и матери), мы открыто негодовали, а Клавдюша и учителя опять прикрыли нас. Арест Тухачевского и других - мы как раз заканчивали школу - вызвал у нас просто ужас. После очередного выпускного экзамена вшестером поехали на трамвае к Тимирязевке, взяли лодку (там рядом с Академией, на Выселках, озерцо) и говорили, говорили, стараясь понять, куда же это все ведет.

Стоит здесь упомянуть об одном запомнившемся эпизоде из нашей школьной жизни, деполитизированной, обращенной во внутрь себя и в "духовную сферу". В один из весенних дней 1936 года весь класс, строем повели в "Станкин", станкостроительный институт в том же Вадковском переулке, метрах в двухстах от школы. Усадили в большом зале, где, видно, проводились собрания и показывались фильмы для студентов. Засветился экран. Что-то сказал какой-то человек. И потом появился Сталин, уже на трибуне. Он выступил с докладом о Конституции.

Помню странное состояние, когда мы вышли из "Станкина" и стайкой побрели обратно в школу. В течение двух с лишним часов мы видели и слышали боготворимого страной человека, который говорил однотонно и нудно с сильным акцентом, казавшимся совсем неуместным в его положении великого вождя. Он регулярно, через одинаковые промежутки делал паузы, наливал себе из графина в стакан воды, медленно пил, утирал усы и

продолжал². Время от времени он "делал улыбку", зачитывая крылатые фразы из Гоголя или Щедрина, явно довольный "своим" остроумием. Но больше всего запомнился звон стакана о графин, когда он собирался в очередной раз пить. И осталось главное впечатление - какой у нас неожиданно несимпатичный вождь.

До этого я видел Сталина лишь на Мавзолее во время демонстраций. Не каждый раз и очень издалека, потому что колонна нашего Дзержинского района проходила едва ли не крайней от ГУМа. Кстати, меня уже тогда неприятно поражала истерия, которая охватывала людей при появлении Сталина на Мавзолее. Колонны останавливались, перемешивались, те, кто уже прошел к Васильевскому спуску, бросались назад... Эти очумелые глаза, нечленораздельные крики, бешеное махание руками - "может, именно тебя увидит!" - все это вызывало у меня уже тогда, в школьные и первые студенческие годы, скажем так, "интеллигентскую" брезгливость. Казалось чем-то не достойным уважающего себя человека. Ощущение это закрепилось на одной из первомайских демонстраций уже после войны. Колонна МГУ шла совсем близко от Мавзолея и уже приближалась, расслабившись, к Василию Блаженному. Сталина до этого не было на трибуне. И вдруг все вокруг закричали, бросились назад, расталкивая идущих вслед и увлекая за собой. Когда я оглянулся в сторону Мавзолея, передо мной даже образовалось открытое пространство. И я отчетливо увидел... толстый зад и сапоги Сталина, в раскорячку поднимающегося по лестнице на трибуну.

Согласитесь, такое не забывается. С тех пор эта сталинская жопа и бушующие массы народа "по этому поводу" стали как бы символом моего окончательного отношения к вождю. Не буду лукавить. Не репрессии, о которых мы мало что знали и еще не были до конца уверены в том, что это не ошибки или даже оправданные действия; не страшные поражения первых лет войны; не внутреннее несогласие с какими-то политическими шагами (например, пактом Молотова-Риббентропа, о чем я еще расскажу) вызывали тогда у меня отторжение от Сталина. А вот это, оформившееся в том "символе" на Мавзолее, ощущение, что над тобой, над всем, что ты приучен

² Далеко еще было до времен, когда на подобных собраниях в Кремле здоровенные молодые мужики приносили из-за кулис покрытый салфеточкой чай каждому очередному оратору. Некоторые из них от волнения, развертывая бумажку с текстом, опоражнивали недопитый стакан предыдущего оратора под веселый и снисходительный шепот в зале.

считать порядочным, над всей той культурой, шедшей от Толстого и Чехова, от Шекспира и Анатоля Франса, которая стала для тебя предметом культа, - стоит грубая, невежественная, совершенно чуждая твоему внутреннему миру сила. И она определяет внешнюю среду твоего обитания, а значит и твою личную судьбу. Для меня со школьных лет было ясно, что это "неинтеллигентно" - поклоняться Сталину, восхищаться им. Таков был "основополагающий и первый источник" моей нелюбви к нему. Хотя с кем бы из знакомых, уже в послесталинские времена, я ни делился этим своим восприятием Сталина - не верят. А между тем во многих воспоминаниях интеллигентов, уже бывших взрослыми в 30-е годы, сейчас можно прочесть нечто подобное...

Продолжу об учителях. Наталья Дмитриевна Колчина, "биологичка", "Натальюшка". Дама суетливая и заботливая. Очень она эмоционально внедряла в нас хромосомы Моргана-Вейсмана и тогда только что появившуюся теорию происхождения жизни на Земле Опарина. Биологический кабинет на третьем этаже, пожалуй, самый светлый из классных комнат. Запомнился он мне еще одним обстоятельством. Дело в том, что в 8-м классе, я освоил книгу Фореля "Половой вопрос" - издание 1908 года, хранилась в комнате отца с матерью, запрятанная на этажерке. И с тех пор все, что связано было с биологией, ассоциировалось у меня с тайнами, которые я для себя в этой книге открыл.

Надежда Ивановна Ускова, "немка". Темные внимательные глаза, черные с сединой пышные волосы, большой пучок. Видимо, в свое время была весьма красива, порою сильно чувствовалась. Она была приятельницей директрисы еще с дореволюционных времен. Благожелательная, но равнодушная, какая-то "отсутствующая". У меня с немецким не очень получалось, хотя, как я уже писал, в раннем детстве занимался им с бонной, а потом и в школе - с первого класса. Но Надежда Ивановна была снисходительна, посверкивая на меня своим пенсне и загадочно улыбаясь. Единственное, что у меня осталось от ее уроков - это "Ich weiss nicht was sollen bedeuten...", про Лерелею Гейне. Впрочем, тогда, до войны во всех школах страны иностранный язык значило - немецкий. И никто, оканчивая школу, его не знал, если не какие-то особые домашние обстоятельства. Потом, на войне не только я об этом пожалел...

Был "физик", Николай Николаевич, длинный, нелепый, в широких коротких брючках, очень добрый и банальный и как преподаватель, и как человек.

Был "химик", Дмитрий Иванович Дубынин, "пончик". Это прозвище точно передавало его облик: короткий, пухленький, с ямочками на розовых щечках. Умное, улыбочное, но не доброе круглое лицо, чуть шепелявил. Профессионал он был, видимо, отменный. Позже стал не то проректором педакадемии, не то замом наркома (или уже министра) просвещения. Меня он почему-то невзлюбил (хотя знал моего отца и был с ним в хороших отношениях - общались на всяких общегородских учительских встречах).

На меня он действовал как удав на кролика. Я терялся, даже когда знал урок. А он не щадил и едко, остроумно комментировал мое бормотание в ответ на его вроде бы простые, но каверзно поставленные вопросы. Так продолжалось два года. И "пончик" готов был испортить мне выпускной аттестат круглого отличника, если бы не вмешалась сама Клавдюша, впрочем - по собственной инициативе.

Были, конечно, и другие учителя - географ, астроном, по рисованию-черчению, по труду, по физкультуре. Но они не сохранились в памяти, а значит, видно, и не повлияли на, прошу прощения, "формирование личности".

О "нашем классе", о ребятах и подругах. За три года моей учебы в этой необычной, "опытной" школе численность класса менялась - от четырнадцати до семнадцати человек. И как-то так получалось, что мы почти не общались с теми, кто шел впереди нас и за нами. Класс существовал как замкнутое образование... но - "организм", целостность.

Ученики делились - негласно, но явно - на две категории: более "развитых" и менее "развитых". Это почти совпадало с социальным происхождением, но были исключения - и в ту, и в другую сторону. Из интеллигенции - в первой категории, из мещанско-пролетарской - во второй. Но не было ни антагонизма, ни демонстративного отчуждения. "Правила игры" в равенство соблюдались спонтанно и неукоснительно. Не было ни высокомерия, пренебрежительности, с одной стороны, ни обиды, закомплексованной второстепенности, с другой. Директриса и учителя, никто, явно понимая наличие в классе двух категорий, ни намеком, ни

словом, ни поведением, никогда не выказывали предпочтения одним или неуважения к другим. Все мы были для них "штучные", хотя - особенно на противоположных краях - контраст был разителен до смешного.

В первую группу входили: Георгий Острецов, Наташа Станкевич, Вадим Бабичков, Феликс Зигель, Давид Кауфман, Лиля Маркович, Лика Гордон, Илья Пинскер, Лев Безыменский, Эся Чериковер, Нина Попова, Нина Гегечкори, я. "Примыкал" Борис Геронимус, - с 9-го класса староста, и это прилипло к нему "навечно", даже по окончании школы.

В этом, скажем так, "интеллигентном" кругу был более интимный кружок: Вадим, Дезька, Лика, Жора, Наташа, Нина Попова. И где-то рядом: Феликс, Илья, Лиля. Были, конечно, парные отношения и предпочтения. Из ребят ближе всего мне был Вадим и Дезька, с которыми мы сидели на одной парте (тогда, когда у нас появились парты, т.е. только в 10-м классе и уже в новом здании, выходящем на Суцевский вал).

Наташа Станкевич в 8-м была безусловно "первой ученицей", старостой и высшим авторитетом. Но главное ее качество - она была красавицей. На приложенной фотографии каждый может в этом убедиться: она в центре сидит. И все упомянутые выше "мужского полу" были в нее в той или иной степени влюблены, я - особенно. Но она предпочитала Вадьку Бабичкова, и "у них была любовь". Тут уж ничего не поделаешь. Но крохи от ее благосклонной красоты и строгого обаяния перепали и другим - мне, Дезьке, Жорке. Она казалась взрослее нас и уже перенесла потрясение - арест отца. Может, с этим связано то, что в 9 и 10 классах она постепенно уступила первенство в учебе, переживала очень. Мучительно бывало иногда смотреть, как она путается у доски, как невыразительны и слабы ее ответы.

Вадим Бабичков. Мать дворянка, отец - известный профессор-железнодорожник. Весьма по тем временам благополучная семья. И Вадька, со здраво-мальчишеской точки зрения, - в общем маменькин сынок. Высок, хорош собой, хотя несколько женственен лицом, да и в характере недоставало "мужского начала". По этой части он "в тайне" признавал мое преимущество. Остроумен и не тщеславен: учеба ему давалась легко и не очень он лез "в первый ряд". Был самый куртуазный среди нас и недаром именно его выбрала красавица Наташка. Мы сдружились с ним скорее всего на почве особой склонности к любовным делам.

С отроческого периода для меня все в жизни в конечном счете концентрировалось на интересе к женщине, все ценности измерялись их пригодностью служить мне в завоевании внимания, привязанности, любви той или иной девочки, девушки, женщины, каждая из которых в данный момент придавала главный смысл моему существованию в этом мире. Это, видимо, и есть "донжуановский комплекс", хотя данных для его реализации у меня, в общем-то, было маловато. Что-то похожее, наверное, было и у моего приятеля. Это нас сближало. Во всяком случае, ни в школьные времена, ни потом не могло у меня быть "настоящей мужской дружбы" ни с кем, если я не мог быть до конца откровенным с этим человеком в своих интимных делах или если "тайна женщины" его мало интересовала. Оговорюсь: это не уровень - "поговорим о бабах". Любая тема - книги, кино, искусство, учеба, развлечения, окружающая действительность, общественные проблемы - должна нести это "женское начало", иначе она не интересна, не волнует, не существенна для меня.

И хотя пути с Вадимом у нас оказались после школы очень разные, в друзьях мы ходили до самой его смерти в 1984 году.

Дезька Кауфман тоже, но иначе был мне очень близок. Его тоже занимала тайна "женского начала". Однако сосредоточен он был на другом: в нем уже закипал "котел" большого таланта. Но он не давал ему расплескиваться. Не помню, чтоб он тачал стишки для школьных стенгазет или для наших хохмаческих посиделок, забавлялся эпиграммами на "близких" и "дальних". Он был доброжелательно остер и точен в оценках людей, но не демонстрировал это без надобности. И когда произносил очередную свою формулу насчет кого-то и по поводу чего-то, как-то взрывисто улыбался, хехекал, не срываясь в смех. Это осталось у него на всю жизнь. Клички учителям - это его продукция. Видно, потенциал в нем быстро серьезнел - отсюда и большая, чем обычно в таком возрасте, уверенность в себе. Отсюда и его неизменная внутренняя веселость, постоянная готовность вкладывать во все, что он говорил шуточный стерженек - даже в свои ответы на уроках.

Что-то его потянуло ко мне, хотя, например, с Острцовым и с Зигелем они пришли в 1-ю Опытную из одной школы, а с Жоркой жили в одном доме на площади Борьбы. У нас не было общих увлечений: я не писал стихов, он

не увлекался спортом. Правда, мы оба были влюблены в Наташку Станкевич, но оба, как впрочем и другие, безнадежно. Это, что и говорить - тема для общения, сближавшая. Но не только же это... Безусловно, он откликался на мою привязанность к нему. И, наверное, чувствовал в ней напряженное ожидание его неординарного будущего, нетрепливое, без мальчишеских "дружеских" домогательств - кем ты хочешь быть, кем и как станешь?.. Со мной он не говорил о своих занятиях стихами. Иногда читал, но мнения не спрашивал. Когда у него что-то не получалось - "муки творчества" или, позже, "проходимость" в печать, он приходил ко мне, но говорил все равно о том, в чем и я разбираюсь. Согласитесь, со стороны поэта - высшая форма деликатности. Обычно верх берет неумность эгоистического самовыражения.

Наши с Дезькой темы - обыденные явления вокруг нас и "простые радости" жизни. Меня первого, а то и единственного он посвящал в самые интимные свои дела. И так осталось на всю жизнь. Навсегда определилось: что бы с каждым из нас ни произошло, в какой бы ситуации мы ни оказывались, кто бы ни окружал нас непосредственно вообще и в данный момент, ни он, ни я ни разу не унизились, позволив себе держаться "не на равных". Такой сложилась формула взаимной верности.

Только с Дезькой - в школе, а потом уже будучи студентами - мы говорили о будущей войне. Для нас с ним было ясно, что мы туда пойдем. Предстояла "наша война". Эти слова - цитата. Когда много лет спустя после войны я его спросил, почему он, признанный и знаменитый поэт военного поколения, ничего не пишет о столь модной "угрозе новой войны", Дезька ответил: "Это будет, Толедо, не наша с тобой война". Сказал просто, сходу, не придав, видно, и значения тому, сколько в этих словах было "многоэтажного" смысла.

К Давиду Самойлову, который стал в один ряд с крупнейшими русскими поэтами XX века, я еще буду не раз возвращаться...

Лица Гордон. Она была крупная девушка с большими формами, с крепкими икрами и тонкими щиколотками. Сильно конопатое, правильное, тонкое, умное лицо. Не очень опрятная, равнодушная к одежде, вообще к тому как выглядит, она вся излучала доброту и живость природы. Жила она в Роще "за линией", в полуразвалившемся одноэтажном домике, захламленном,

начиная с сений, чем попало. А в комнатах стен было не видно из-за книг, нот, папок, бумаг, наваленных на покосившихся полках до потолка. Отец ее - из разжалованных профессоров, преподавал историю в одной из рощинских школ. В 1938-м его арестовали. В тюрьме в Угличе на ученических тетрадках по памяти он написал историю немецкой философии, которая каким-то образом оказалась в распоряжении семьи. Мы, Ликины друзья, эти тетрадки в клеточку, исписанные бисерным плотным почерком, читали. Мать - на вид строгая женщина костромского или вологодского типа - была выше своего мужа. Лика статью пошла в нее, но в лице, в глазах был еврейский, отцовский оттенок.

Как ученица Лика (паспортное ее имя Елизавета) была женским вариантом Жорки-энциклопедиста. Но это никак не сказывалось на ее характере. Яростно поспорив, она готова была весело согласиться с чем угодно.

В отличие от других девчат класса, она была зрелой девицей, неудовлетворенная сексуальность, что называется, "перла" из нее. Она готова была влюбиться едва ли не в каждого из мальчишек класса, конечно, из "интеллигентного" ряда. "Спариваться" с Ликой однако не хотели. По мальчишеским представлениям, она была слишком "большая". В самом деле, такими девчонками не увлекаются в школе и даже в поздней юности, но из таких вырастают шикарные красивые молодые дамы. Во всяком случае, я уверен, Лика Гордон стала бы именно такой.

Лику любили все - и учителя, и одноклассники. Она была не только открыто добра, но и умна, интересна, содержательна. У нас с ней были очень открытые, добрые отношения. И несметное число тем для разговоров, когда вдвоем возвращались из школы. Хотя я был "занят" Ниной Поповой, Лику это не смущало. Она дружила с Ниной, но готова была на "близость" со мной, чем я иногда пользовался. Помню, как-то в душный летний вечер у нее дома мы готовились к экзаменам, распластавшись на огромном пыльном диване. Я всем телом ощущал, как ее тянет ко мне. В конце концов поддался этой энергии и дал волю рукам. Впервые в жизни я приобщился к "большим формам", к которым меня влекло сизмальства: еще будучи в первых классах, я любил срисовывать из журналов портреты знаменитостей (с помощью разномасштабного циркуля). У женщин я при этом груди увеличивал раза в

четыре по сравнению с оригиналом. А тут впервые я не только увидел живые, но и узнал, какая ошеломляющая сила заключена в прикосновении к ним. От моих ласк, мне показалось, Лика впала в какое-то полуобморочное состояние. Но я был не готов, не умел и не осмелился пойти дальше...

Однажды, уже перед самым окончанием 10-го класса, я увидел Лику с площадки трамвая. Она шла под ручку с Илюшкой Пинскером, о котором я упоминал. Само по себе это было странностью: под ручку тогда редко кто хаживал, особенно в школьном возрасте. Кольнуло меня и то, как она впиалась пальцами между его пальцев, как прижала его руку к своему мощному торсу. Значит, решил я, и Лике, наконец, удалось "спариться".

Кончилось это, однако, через два года плохо. Оба они поступили на мехмат МГУ, оба вместе прошли два курса. Наступило лето 1940 года. Мы с братом ездили к отцу в Картуз-Березку, где стояла его дивизия (он был мобилизован осенью 1939-го "на освобождение" Западной Белоруссии). Часа через полтора, как мы ввалились домой, появилась Нина Попова. Я было бросился к ней, но замер, увидев ее лицо.

- Ты знаешь, что Лика умерла?! Оказывается, уже месяц, как похоронили. Пошла к "бабке" вытравлять плод. Тогда действовал уголовно наказуемый запрет на аборт. Получила заражение крови и сгорела в несколько дней в больнице на улице Дурова, где сейчас какое-то "совместное" медицинское заведение.

- А что Пинскер? - спросил я у Нины, опомнившись.

- Негодяй и подлец, - и бросилась за дверь зарыдав. Недавно, в кругу оставшихся немногих "школьников" я снова задал тот самый вопрос: "А что Пинскер?" Оказывается, некоторые и не знали, от чего умерла Лика. У тех, кто знал, не было сомнений, что к "бабке" Лика пошла по обоюдному решению. Поскольку Илюшка появлялся в 60-70-х годах среди нас, эта тема была "закрытой". Теперь он в Израиле. Рассчитывал на старости лет, что там схватятся за него как математического гения. Оказалось там своих полно...

Один из нас, Борис Геронимус, в том разговоре вспомнил, что видел Пинскера в 1941 году в Свердловске, где они оба оказались в эвакуации. Встречались. Но ни разу не заговорили о Лике.

С Ликой связан еще один эпизод моей юности. У Лики была то ли подруга, то ли дальняя родственница. Звали ее Нора, само имя

романтическое. Жила она где-то за Тимирязевкой, в районе нынешнего метро "Войковская". Училась в школе вместе с будущей героиней войны - Зоей Космодемьянской. Лика ввела Нору в наш круг. Умная, застенчивая, вся какая-то хрупкая, с лицом Богородицы. И она в меня "безумно влюбилась". Я это скоро понял, но делал вид, что не замечаю, потому что не знал - что тогда? Как себя держать? Она мучилась, металась, пропускала школу, подлавливала меня где-нибудь на пути домой, простаивала часами у ворот моего дома. Иногда зимними вечерами я вдруг слышал легкие шлепки о стекло. Я уже знал: это Нора кидает маленькие снежки, вызывает меня. Выходил, звал домой, она стеснялась; ходили взад-вперед по проезду, провожал ее до трамвая. Как она жалко и страстно ждала хоть маленькой ласки от меня, хоть какого-то жеста, пусть обманчивого, но дающего пусть слабенькую надежду. Продолжалось это едва ли не больше года, пока не разошлись мы в разные стороны - каждый в свое студенчество. Впервые жизнь мне преподала урок, что значит быть безответно любимым.

Вернувшись с войны, я узнал, что Нора, как и Зоя Космодемьянская, видно, одной школьной компанией, ушла партизанить в Подмоскovie и бесследно пропала. Осталась она у меня на групповой фотографии: понурившись, стоим мы, бывшие одноклассники и Нора, у памятника Лике Гордон, осенью 1940 года, за год до гибели Норы...

Лева Безыменский. Один из четырех в нашем классе, кто воевал (Дезька, я и Наташка Станкевич). Сын знаменитого в свое время комсомольского поэта. Отец бывал в школе по торжественным случаям. И тогда и даже сейчас, когда вспоминаю о нем, человек этот так до конца и не определился в моем сознании (не как поэт, конечно). То ли была какая-то зависть, что твои родители не такие значительные, то ли смущение от присутствия запросто столь важной персоны, то ли неприязнь от того, что он позволял себе держаться раскованно и даже покровительственно по отношению к Клавдии Васильевне, "выше" которой из знакомых людей для нас не было и не могло быть.

Лева ровно и добросовестно учился. Свообразием не отличался. В особо близких отношениях ни с кем не был. Автор и аккомпаниатор классного гимна, переделанного из расхожей тогда песенки "Старуха ахнула слегка, увидя красного стрелка. А дочка вторила ей в тон, увидя конный

эскадрон..." Исполнялся гимн со страшным грохотом: на слове "ахнула" (а это в припеве) все ударяли обо что попало или стучали чем подвернется о что-то особенно звучное.

Левка стал первым из нашего класса комсомольцем. Потом появились еще двое-трое. Но это для остальных ничего не значило. Посмеивались разве многозначительно, когда он исчезал на собрание ячейки или на свидание с комсоргом школы. Не думаю, чтобы во всей нашей школе комсомольцев набралось больше десятка.

Тем не менее Лева все-таки был в несколько особом положении. В пионерском своем возрасте он ездил в "Артек" - что-то сказочное в нашем воображении и явно недоступное. К осени, после 8-го класса, мы гурьбой встречали его оттуда на Курском вокзале. Запомнилась эта встреча как событие в нашей школьной истории и еще по одной причине. Напряженно и радостно ждали поезда, который опоздал. Закричали, замахали руками, увидев Левку в окне вагона. Но по выходе он был тут же забран родителями и усажен в автомобиль. А мы трамвайчиком поехали по домам. Мать спрашивала, как, мол, встретили. Так, ничего особенного, уныло отвечал я. "Что ж вас даже чаем напоить не пригласили?" Резанула тогда меня эта реплика. Прояснила то, о чем сам лишь смутно догадывался: "не ровня мы с Левкой"...

Лева Безыменский после Сталинграда был переводчиком у плененного Паулюса. Теперь он ветеран журнала "Новое время" - самый почетный сотрудник этого уникального издания, известный писатель и журналист, автор оригинальных исследований, многих книг и статей о войне, о третьем рейхе.

Лиля Маркович. Она была "за иностранку" в классе. Отец ее, как и у той Дины из Мякинино, инженер-эмигрант, но из Австрии. Жила она в только что построенном тогда престижном доме на углу Каляевской и Садового кольца. Он и сейчас выделяется там. Когда я появился в школе, Лиля показалась мне несколько экзотической девчонкой. Отношения у нас сложились своеобразные: с ее стороны первоначально покровительственно-нисходительная манера, несколько навязчивая готовность "поддержать новичка". С моей стороны - согласие с таким ее отношением, скрытая зависть к выделявшей ее "заграничной" начитанности (при этом она совсем не лучше

других училась) и тщеславное стремление доказать, что она ошибается, если берет меня за "серенького", нуждающегося в опеке.

Я не был в нее влюблен, но получилось так, что скорее всего именно она была для меня постоянным напоминанием о напутствии Клавдюши, когда та принимала меня в школу: "Тебе придется догонять". Я будто все время "искал" Лиленного одобрения. Был самолюбив и умел "не жалеть себя". Я "догонял", упрямо, отчаянно. К концу 8-го класса почти безукоризненно грамотно писал. Вышел, если не в первый эшелон - не в отличники, но в твердые хорошисты. А по некоторым предметам и "отличался".

Но не только в учебе я стремительно вырывался вперед. Я поглощал невероятное количество разных книг. Как раз в эти годы потоком пошла горьковская серия "Всемирная литература". И я хватал из нее все, что мог достать в школьной и рощинской "публичной" библиотеке, у товарищей, у знакомых отца и матери.

Сейчас мне трудно определить, что читалось в "той" школе и что уже в студенчестве на трех курсах до войны. Поэтому в перечислении, может быть, будет и перебор в пользу школьных лет. Однако мощная инерция была заложена именно в школе.

Французы - от Вийона и Альфреда де Мюссе до Роже Мартен дю Гара и Поля Валери. Плохо шел Бальзак, не сразу я оценил Стендаля "Красное и черное" показалось скучным. Анатоль Франс стал моим "настольным" писателем.

Англичане - от Чосера до Олдингтона. Не раз перечитывал Голсуорси. Как и Бальзак из французов, плохо воспринимался Диккенс, хотя я себя заставлял его читать. Да, именно так - и не только в отношении его. (Например, добыв на два дня "Одиссею" и "Иллиаду", проглотил их, - к концу вторых суток дочитывал в полном изнеможении.)

Немцы - от Клейста и Гельдерлина до Томаса Манна. Увлечение Ремарком (да и доступность его) пришли уже после войны.

Меньше меня интересовали испанцы. Универсальностью и глубиной "Дон-Кихота" я так и не проникся, хотя пытался не раз. Мне больше импонировала великая тайна и драма Дон-Жуана во всех ее национальных вариантах, особенно - байроновском.

Одно время долго "держал при себе" "Без догмата" Сенкевича. А из Мицкевича запомнилась только действительно классика - "Последний наезд на Литву". Вообще много позже, совсем недавно попала в руки история польской литературы и я понял, что это - самый высокий "европейский стандарт", и так много наше поколение потеряло, почти совсем ее не зная.

Огромную роль в "воспитании чувств" сыграл Ибсен, которым я просто упивался. Я будто жил в атмосфере его пьес. Похожее действие оказали некоторые вещи Гамсуна - "У врат царства", особенно "Пан" и "Виктория" и рядом "Ингеборг" Келлермана, "Потонувший колокол" Гауптмана.

Русская классика впитывалась сама собой. Достоевский в советское время до войны не издавался (кроме "Преступления и наказания"). Но я всего его прочел в школьные годы по изданиям начала века, с ятями и твердыми знаками. Ошеломлен был "Бесами" и "Братьями Карамазовыми". Плакал. Мучился его героями, которые доводили до отчаяния своим поведением почему-то вопреки всякой логике и во вред себе.

Не могу сказать, что близко принял Горького. Ранние вещи, особенно, которые "проходили" в школе, с самого начала мне казались напыщенными и искусственными. Более поздние, вроде "26 и одна", читал с любопытством, запомнил. Очаровывали его пьесы в "Художественном", может быть, правда, благодаря великим артистам той эпохи. Но меньше всего - "На дне". Сильное действие, познавательное и "философское", оказала "Жизнь Клима Самгина", особенно, линия, связанная с Зотовой. Помню, как первый раз я начал читать эту эпопею на даче, в 1937 году, на хуторе Карповка у опушки леса, растянувшись на траве ("А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было!").

В классе царил культ чтения. Волны общего увлечения то одним, то другим накатывались, стоило кому-нибудь сообщить, что вот прочел, мол, "потрясающее". Не всегда это шло на пользу. Например, больше читали Леонида Андреева, Куприна, Сологуба, даже (под влиянием Фельки) Мережковского, чем Чехова; Глеба Успенского или Писемского, чем Лескова. Лучше знали Надсона, Апухтина, Полонского, чем Тютчева и Фета. "Оригинальничали": Чехова-то, мол, каждый читывал! Но в поэзии (под влиянием Дезьки и Вадьки) вкус был точный: Пушкин, Блок, Маяковский, Хлебников, Пастернак, Тихонов, Светлов, Багрицкий. В те наши годы

Ахматова и Цветаева были под запретом. "Закрыт" фактически был и Есенин. Мандельштам - почти. Но символистов, как я уже говорил, знали так, как теперь в школах и представить себе не могут. Знать советскую литературу считалось делом само собой разумеющимся. Но и тут надо было стараться "не отстать".

Самообразование и, если можно так выразится, взаимообразование было и "атмосферой", и критерием принадлежности к "ядру". У одних это получалось естественно, у других - наряду с потребностью - диктовалось тщеславием. Культура стала культом в нашей среде. Другое дело - с большей или меньшей охотой его исповедовали. Для меня он означал также и добровольно-обязательный труд, "заставление себя".

Не скажу, что многочтение перестало в дальнейшем быть бременем. В глубинах своих "душа" моя - ленивая.

А какая же культура без философии? Слово это манило. Там тайна. Там, казалось, открывался смысл всего сущего и самой твоей жизни. Интригующая загадочность слова "философия" вошла в сознание вместе с литературной классикой. Но, повторяю, едва ли не главным импульсом заняться философией была страсть стать "образованным", опять же культ культуры. И я начал читать книжки, не тронутые запретами в школьной библиотеке, которой одно время заведовала по просьбе Клавдюши моя мать.

Я осилил "Введение в философию" Челпанова - университетский учебник начала века. Пытался проникнуть в премудрости модного в то время, скучнейшего фолианта Вундта ("Система философии"). Вооружился оказавшимся у отца учебником по диамату и истмату для вузов (под редакцией потом печально знаменитых Митина и Юдина - ликвидаторов дебординской школы советского неогегельянства). И мысли мои побежали в разные стороны. Оказалось, существуют "философии", которые интересуются совсем разными вещами. Но ни у тех, ни у других нет того, чего я от "философии" ожидал, обе они скучны для молодого ума. Однако, уже знакомый с русским символизмом, с Горьким, Гамсуном, Ибсенем, я обратился к книжкам, которыми увлекались их герои. И достал Ницше и Шопенгауэра. Там я тоже не нашел ответов на вопрос, который нас всех в "ядре" очень занимал и которому - мы знаем - 2000 лет: "Кто я? Зачем я? Куда мы идем? Что с нами будет?"

Так вот - о Ницше и Шопенгауэре. Во-первых, меня поразило, что есть среди философов блестящие стилисты, что философия может быть "веселой наукой" (одну из своих книг, как известно, Ницше так и назвал), что она проникает в самые обычные жизненные дела и что рассуждения о них могут быть выражены в завораживающе яркой и неотразимо убедительной форме.

С тех пор с Ницше я не расставался. И интересовали меня не концепции, которые извлекали из него почитатели и критики, политики, литераторы и другие философы. Я и не старался, вновь и вновь читая Ницше, встраивать парадоксальные острые и точные мысли в рамки некоего, якобы, созданного им учения. Его афоризмы и максимы приложимы к людям любой эпохи. С "Войны и мира" началось, Шекспиром подтверждалось, а благодаря Ницше окончательно сложилось во мне убеждение: природа человека неизменна, будь он советский или античный. "Моя война" утвердила во мне в общем-то фаталистический взгляд на положение человека в обществе, какую бы форму оно ни принимало. Что впрочем совсем не означало равнодушия, безразличия к подлости и гнусностям человеческим. Увы! Презирать людей я не научился, хотя не раз в жизни "ставил перед собой" такую задачу.

Сказанное - не навязывание старшекласснику Толе Черняеву мыслей, которые появились позже. Есть дневниковые свидетельства 1938 года, подтверждающие, что примерно так я думал и тогда.

Читатель заметил, наверное: я кругами, по ассоциации с тем или иным из соклассников, иду по школьному пространству, стараясь его заполнить самым существенным в той моей жизни. В нем осталось бы белое пятно, если бы я не рассказал о Нине Поповой. Она была, пожалуй, единственным "исключением" в интеллигентском кружке класса. Из простой и очень бедной семьи домашней портнихи. Жила в хибаре "за линией" в 9-м проезде. Не знаю, как получилось, но меня "спарили" с нею. Может потому, что от красавицы Наташки мне "отламывалось" лишь от случая к случаю, что Лика, при всех ее достоинствах, была слишком "велика" и доступна. Лилька еще не проснулась для амуров, да и не возбуждала во мне эмоций "такого" рода. Нина Гегечкори внешне совсем "не то" и вообще "особый случай" (о чем расскажу позже), другие девочки - за пределами круга... А может и в самом деле, какие-то токи проскочили между нами. Нинка была мне симпатична.

Словом, спонтанно мы оказались "парой". И примирились с этим, и взаимная тяга возникла.

Это была хорошо сложенная, долгоногая девочка спортивного склада, хотя не спортсменка. Черноволосая, смуглая, с круглыми глазами и широковатым овалом лица, носом прямым, но несколько толстым. Ни хорошенькой, ни тем более красивой ее не назовешь. Но что-то в ней было... Независимость, норовистый гордый нрав, обостренное чувство справедливости. Училась она средне. Но в ответах учителям и в общении с нами была решительна и безапелляционна. Обижалась и замыкалась, когда понимала, что в резкости перебрала или ошиблась в чем-то. Умела она "уважать себя заставить", хотя, мол, и не из "породистых" интеллигентов. В "ядре" никому и в голову не могло прийти считать Нинку "вторым сортом".

Итак, мы были в дружбе, хотя до поры я не позволял себе с ней такого, что с Ликой. "Пора" наступила, когда при переходе в 10-й класс во время экзаменов (а экзамены были у нас ежегодно) она приехала ко мне на дачу в Тучково. Днем мы уходили в лес, подальше от маминых глаз, расстилали одеяльце, растягивались рядышком и утыкались в книжки. "О любви и дружбе" мы, конечно, наговорились вдоволь, но практических выводов из этих моих разговоров "с прицелом" она вроде не собиралась делать. Однажды я не удержался и прямо сказал ей: "Нинка! Может, хватит дурака валять?" Ответ, видно, был давно готов. Серьезно, в своем безапелляционном стиле, она заявила: "Если мы позволим себе хоть раз, остановиться не сможем. И кончится это плохо. Если ты мне дашь сейчас слово, что не будешь посягать на это, делай со мной что хочешь, пожалуйста, хоть сейчас начинай. Согласен?" Я, естественно, тут же поклялся... Это были мучительные для нас обоих ласки, юношеские - я ведь был тогда совсем несмышленишем.

Жизнь у Нины Поповой сложилась, кажется, скучно. Она поступила в Тимирязевку, вышла замуж за одноклассника, который ушел из нашей школы еще до того, как я там появился. После войны работала в каких-то аграрных учреждениях. На встречи одноклассников (мы их возобновили в конце пятидесятых годов) она обычно не приходила. Пришла в 1968-м. Дело было вскоре после чехословацких событий. Нельзя сказать, что уж очень удивила, но неприятно поразила всех нас ее и "Васика" (мужа) позиция: "Мы

их, сволочей, освобождали, а они вон как с нами! Предатели!" Я завелся, хотя обязан был сдерживать себя, - встреча проходила на этот раз у меня дома. При некотором смущении присутствующих не помню, уж, какими словами, но дал понять, что от выпускников 1-й Опытной странно слышать суждения, которым место в очереди за пивом. На что Нинка в своей знакомой манере возразила, что от работника ЦК КПСС она тем более не ожидала услышать то, что она здесь услышала.

С тех пор никто из нас, "школьников", ее не видел и ничего путем о ней не знает...

Такова еще одна новелла "о нашей школе".

Школьной компанией - человек семь-восемь - ездили кататься на лыжах. Приглашал я - на "свою" летнюю дачу на хутор Карповка в Тучково. Свои лыжи были не у всех. Понабирали где кто смог. И не все умели кататься. Лилька - так та впервые держала лыжи в руках.

Наша первая вылазка... В поезде ехали два часа с лишним, веселились, играли "в города" (нужно по очереди назвать город на последнюю букву предыдущего), бузили, втайне, мучаясь и ревнуя что "дружба" складывается не так и не с тем, с кем особенно хочется. (В наше время любовные отношения на школьно-студенческом уровне "публично" назывались только так!) Наташа вдруг властно позвала меня посидеть на подножке вагона. Вышли в тамбур, открыли дверь, уселись обнявшись на вторую подножку, свесив ноги. Ветер, снег, дым от паровоза. Через некоторое время на площадку вышла Нина и встала сзади. Оглянувшись, я увидел бешенство в ее глазах - я ведь "по распорядку" в классе "принадлежал" ей.

Но настоящий скандал начался, когда мы вышли на дорогу со станции. До Карповки семь километров. Лилька, Вадик, еще кто-то оказались совершенно не в состоянии передвигаться на лыжах. Еле-еле добрались.

Здесь требуется отступление. Для хозяев наше появление, да еще в таком количестве, было полной неожиданностью. Но встретили они нас с неподдельным радушием. Хозяин бросился убирать лыжи. Дети (их было трое) - помогали раздеваться, развешивали сушить одежду, ботинки. Хозяйка засуетилась у печки. Через час был готов обед и все вместе расселись по лавкам за большим столом. Не помню, чем уж нас потчевали, но сыты и довольны были несказанно - после таких мытарств перехода.

Об этом в человеческих отношениях вспоминаешь как о совершенно теперь немислимом. Чтобы такая орава в общем-то чужих кроме меня людей, обрушилась на голову, без спросу, неожиданно-негаданно - на хозяйский харч (а о том, чтоб заплатить за постой и в голову никому не могло прийти - ни нашим родителям, ни нам, ни хозяевам!), а их принимают как дорогих гостей!

Остались ночевать. Постелили - кому на лавке, кому на полу, кому старые одеяла, кому овчинную одежду... И дрыхли мы вповалку, а на утро и еще в обед были опять сытно кормлены. Но на лыжах днем пошли только четверо: я, Наташка, Нина и Жорка.

В этой вылазке на природу я впервые в жизни увидел... вошь. Пошел за опушку "до ветру", спустил штаны, и она вывалилась передо мной на снег. Я не сразу понял, уставился, разглядывая, как она, здоровенная, шевелилась замерзая. Никому не сказал. Чувство омерзения долго меня не покидало. Потом, на фронте, сколько я их подавил и пожег у костров!.. И часто вспоминал ту, первую.

На лыжах в Тучково мы "в разном школьном составе" ездили еще не раз. В дневнике я подробно и выпендренно описывал эти поездки. Вот одно из таких описаний, сделанных в 1939 году: "Лес молчал. Стройные ели низко, почти неестественно, спускали к земле отяжелевшие от снега ветви. Я впервые почувствовал величие Левитана - неизгладимое, потрясающее зрелище предстало перед нами, когда мы выехали на аллею к бывшему помещичьему имению. Свернули в густой ельник. Он вдруг резко прервался, и мы, будто выскочив из туннеля, оказались на опушке березовой рощи. Оголенные верхушки берез на фоне голубого-голубого, режущего глаз и совершенно неестественного неба казались чем-то совершенно нереальным. Мы стояли ошеломленные. Перед этой спокойной мощью и красотой я почувствовал себя большим и сильным и каким-то глубоко искренним. Мне хотелось кричать... и что бы вы думали? - что "я русский, я русский, и это все мое, это для меня, это я понимаю, только меня это может так всколыхнуть, потому что я русский и эта великая природа тоже русская!"

Проходили в день по двадцать пять-тридцать километров (между прочим, по местам, где в 1941 году прошла линия фронта и где погиб мой друг детства Колька Голицын).

И в этих наших лыжных вылазках Наташа опять, на два дня, "любила меня". Была ласкова и нежна.

Из дневника: "3 февраля прошли километров 30. Наташа на обратном пути до того устала, что начала плакать и отказывалась есть. Легла на кровать и продолжала плакать. Ребята, отобедав, устроили себе мертвый час. Я не хотел снимать сапоги и сел с книгой рядом с Наташей, которая продолжала всхлипывать. Вскоре из соседней комнаты послышался храп спавших валетом на лавке Илюшки и Левки. Я отложил книгу. Наташа вдруг обняла меня. Я поцеловал ее и она, откинувшись, заснула. Сразу. Это меня даже удивило.

Вечером после катания с гор Наташа легла раньше всех - на кровать. Для нас троих была постелена солома на полу. Илья тут же уснул. Левка тоже. Я лежал с открытыми глазами. Наташа проснулась и подозвала меня: "Мне холодно, посиди около меня"... И она опять обняла меня и тут же заснула. Была уже глубокая ночь. Я все сидел возле, Наташа держала меня за пояс. Проснулась. Выругала, приказала снять сапоги и лечь около нее. Я лег. Она тесно прижалась и вдруг как-то сразу крепко-крепко поцеловала. Я стал бурно, беспрестанно целовать ее руки, лицо. Она пообещала выгнать меня, но от поцелуев не отворачивалась. Так мы пролежали до утра. Когда услышал, стала вставать хозяйка, я быстро вскочил и занял свое место между Ильей и Левкой, - не хотел, чтобы подумали плохо обо мне и о Наташе.

Прошло полмесяца. Наташи я не видел. Конечно, все пойдет по-старому: я буду ее "лучшим другом", она будет иногда благосклонна и нежна. Но любить она будет Вадьку".

Вот в таком стиле я начинал долгий и прерывистый путь своих дневниковых излияний.

Входившие в ядро класса собирались у кого-нибудь из нас дома, - втроем, впятером, иногда - всей десяткой. Чаще всего у меня, в описанной выше марьиноорощинской квартире. Все предпочитали ее не только потому, что она была просторнее других (не считая квартиры Безыменского), но главным образом потому, что мама привечала ребят, умела с ними быть "на равных", устраивала какое-никакое угощение с чаем, сидела с нами и вроде вписывалась в наши споры и проблемы, умея при этом не докучать присутствием весь вечер. Зная, что мы соберемся, поручала двоим-троим из

нас съездить в палатку при фабрике "Большевик" (недалеко от Белорусского вокзала) за "ломом". Это - брак, отходы от пирожных и тортов, перемешанных независимо от сорта, - вкуснота! не сравнимо ни с каким "правильным" изделием.

У других собирались редко и - не в полном составе, человек по пять. Помимо обычного хождения в гости - кто-то к кому-то по одному-двое. Бывали у Вадима, у Жорки, у Лили и Дезьки. Перед началом учебного года как правило у Зигеля. Он жил на Каляевской близ нынешней станции метро "Новослободская" в довольно тесной квартире со множеством религиозных символов: иконы, соответствующие статуэтки, картины, книги. Я забыл сказать, что Феликс был верующий. Ходил в церковь. Одна из знакомых сообщила кому-то из нас, что, случайно зайдя в церковь, увидела там молящегося Феликса. Была поражена. Мы тоже восприняли это как "сенсацию", хотя Феликс не скрывал своей религиозности. Сам затевал с нами дискуссии на эту тему. Позже он познакомился со знаменитым Введенским, был вхож к разным иерархам.

Но я сильно отвлекся. Повторюсь - регулярных "общих сборов", кроме как у меня в Роще, не запомнилось. Правда, были встречи "у зеленой лампы".

Я уже упоминал Эсю Чериковер. Она жила в старинном одноэтажном особняке - втором от Садового кольца по Малой Дмитровке. Дом был снесен после войны, но остался соседний, похожий на тот. Вот там и собирались изредка на литературные вечера. Распоряжалась Лилька, ближайшая подруга Эси, тем более, что и жила рядом. Читали вслух Блока - больше, чем кого бы то ни было, Маяковского, Пастернака, Хлебникова (кажется, даже Гумилева, переписанного из запретных изданий, и Ахматову). Естественно, Дезька демонстрировал свои "пробы". Иногда появлялись посторонние со своими стихами. Однажды пришел юноша, явно старше нас. В серой поношенной толстовке, в бриджах и гетрах. Стройный, широкий в плечах, со сдержанно благородными манерами. Снисходительный, молчаливый. Что-то прочитал, вроде бы свое, не помню. Лиля и Эся, судя по всему, знали его до того. Когда он ушел, я спросил: "Кто это?"

- Князь Шаховской, - с гордостью, что у нее такое знакомство, ответила Лилька.

Я остановлю на этом внимание: мы, советские ребята, время - 1937-1938 год, выросшие в атмосфере отторжения и презрения ко всему, что связано с дореволюционными порядками, приученные видеть в русском дворянстве XX века - белогвардейцев, врагов, насильников, мы оказываемся мгновенно под обаянием уже одного названия "князь", не говоря уж о явно незаурядном воплощении этого титула в человеке, появившемся среди нас. И не один я испытал такое таинственное влечение. В моем случае - с моими семейными традициями - оно еще понятно. Но ведь все другие подверглись "излучению" - княжеский титул плюс явно личность, они-то, отпрыски интеллигенции ультра-советского покроя, пусть даже и из ее по-настоящему культурного, нерабфаковского слоя!

Загадка? Ответ, наверное, в свойствах культуры, которая (особенно, если она великая), если уж проникла в национальную почву, может быть ликвидирована лишь вместе с самой нацией.

Шаховской появлялся еще несколько раз у "зеленой лампы". В 1941 году ушел на фронт. И до самого последнего времени мы считали его погибшим. Но совсем недавно до Лильки дошли сведения, что он раненый попал в плен, прошел лагеря и после войны остался на Западе, уехал в Америку...

Увлекались театром. Как раз во второй половине 30-х годов МХАТ вступил в период своего второго цветения, который, как полагают некоторые, был самым ярким в его столетней теперь истории. Именно тогда блистали Тарасова, Хмелев, Москвин, Тарханов, Яншин, Добронравов, Еланская, Станицин, Петкер... Вся Москва повально была влюблена в тот МХАТ. За билетами составлялись по спискам многосуточные очереди. Мы с Бабичковым иногда ночевали в предбаннике Центрального Телеграфа, если дело было зимой, у больших высоких батарей, и каждые два часа бегали отмечаться у "дежурного" по очереди. "Дни Турбиных", "Три сестры" смотрели, кажется, раз пять. На "Анну Каренину" я ходил с матерью.

Хаживали мы и по другим театрам. Однажды организовали культпоход в Театр революции - теперь им. Маяковского - на "Дни нашей жизни" Леонида Андреева (он вообще довольно обильно читался в нашей среде в то время). Нам тогда очень хотелось страдать, по любому поводу, особенно из-

за неразделенной любви. Я к этому склонен был больше других. И содержание пьесы, и истерическая, надрывная игра актеров, помню, надолго вышибли меня из равновесия. Я все пытался наложить эту драму на наши внутриклассные отношения.

Вообще же театр даже приблизительно не стал для меня тем, чем была литература. Мое общение с Юрием Любимовым в 60-70-х годах (о чем впереди) - случай особый. Хотя я, на удивление моих друзей, любил читать пьесы - так, как читают повести и романы. Театральность, как таковую, в том числе и очень высокого класса, я не мог эмоционально принять. Я, наверное, слишком рационально воспринимаю искусство, во всем ищу объяснимого смысла. То, что знатоки презрительно называют литературщиной в картинах, в скульптуре, архитектуре, в симфониях и сонатах, в балете, как раз мне и свойственно. Я всегда хочу от любых произведений искусства того же, что я получаю или могу получить от письменного текста. Даже в танце я ищу "литературное" содержание: знак эпохи, национальное, символику вполне жизненной ситуации. Иначе они оставляют меня равнодушным.

Странно у меня получилось с оперой. Мне было лет пять, когда отец повел меня в театр Станиславского и Немировича-Данченко на "Майскую ночь" Римского-Корсакова. Потряс меня сам этот наш "выход"... Ведь в дотелевизионную эпоху ребенок не был подготовлен к выходу в многолюдный и непривычный "широкий мир". Разодетая публика, огромная зала с ярусами, золоченые кресла, колоссальная люстра, оркестр из целой сотни людей... Наши места - на балконе. Уселись. Затаившись жду занавеса. Но сначала долго играл оркестр, это подогревало напряжение. И вот началось красочное действие. Пораженный его пышностью и праздничностью в первые минуты, я скоро стал недоумевать. Поглядываю на отца. Он не реагировал, смотрел на сцену. И только в антракте я осмелился его спросить: "А когда же они (актеры) заговорят?"

Вот, видимо, с этого неприятного удивления и возникла моя нелюбовь к опере. Правда, в школьном возрасте в том же театре я "видел" (не случайно термин "слушал оперу" до сих пор так и не прижился в моем сознании) "Евгения Онегина" и "Пиковую даму". Первая сильно взволновала... - как падает после выстрела Ленский, до сих пор перед глазами. Но - не более, как иллюстрация к Пушкину.

Еще раз я был в опере в середине 70-х: затащили меня в Большой театр, на гастроли "Ла Скала" ("Ох, Ла Скала! Чудо! Такая возможность, в кои-то веки!") Выдержал один акт. К смущению моей дамы, которая проклинала себя, связавшись с таким "ценителем", я, спрятав голову за барьер балкона, давился от хохота: на сцене толстенная, пудов на семь колоратурная прима с мировым именем изображала смертельно влюбленную девицу!

Театр был для меня переживанием реальной жизни в обобщенном, концентрированном виде, и, так же как литература, формой самообучения жить по-возможности достойно. Иначе говоря, я хорошо усвоил "напутствия", данные российскому художеству Белинским и Добролюбовым (Чернышевского никогда не любил за его примитивизм, считая его попросту неумным человеком и претенциозным "не по чину", а Писаревым, хотя к искусству он вообще относился плево, восторгался - за мастерство, стиль, остроту мысли).

Повальным увлечением была Третьяковка. Мы ездили туда часто. Никто нас не просвещал - что к чему в русской живописи. И экскурсоводов мы не слушали. Каждый сам, посмотрев, что-то где-то вычитывал о картинах и художниках. И возвращаясь в Третьяковку, осмысливал виденное и впитывал в себя, усваивая навсегда соки мощной культуры.

Повадились мы ходить и в музей нового западного искусства на Кропоткинской. Там был весь импрессионизм, еще не раскассированный по другим музеям и не запрятанный большей частью в запасники. Это был прорыв в какой-то новый мир - не только художества, искусства, но и в мир иной жизни, предметное закрепление того, что сложилось в сознании от западной литературы. Ошеломил Роден. Коро, Мане, Моне, Писсаро, Ренуар стали подсознательным критерием красивого в природе и в людях. С будто застывшем навсегда любопытством воспринимались Гоген, Тулуз-Лотрек, Руссо. Значит, и это - высокое искусство, копошилась мысль?... Совсем не похожее на то, что ты привык считать красивым. Значит, оно бесконечно, раз и такое волнует?

С тех пор, кстати, я влюбился в Кропоткинскую улицу (теперь Пречистенка, но тогда, в отличие от других старых московских улиц ее никто Пречистенкой не называл). Не предполагал я, что через тридцать лет

поселюсь здесь, как раз напротив того самого Музея, который в свое время тоже сделал "отметку" в моем внутреннем мире.

На Кропоткинской часто бывали еще и потому, что по ней ходил тогда трамвай "А", на котором мы ездили к Нине Гегечкори.

Ее выпустили из тюрьмы через год после ареста. Но квартира на Новослободской была конфискована. Нинку туда не пустили. Приютила ее у себя в Полуэктовом переулке (теперь Сеченовский, возле Остоженки) некая Зина. Мужа ее загребли вместе с отцом и матерью Нины, в одну ночь с известным тогда деятелем, наркомом земледелия, зав. отделом ЦК Яковлевым. Эта замечательная женщина приняла Нинку как свою дочь. Может быть (кто знает!) предотвратила самоубийство. Ведь Нинка оказалась выброшенной. Мать в тюрьме. Отец там же, а, может его уже и нет в живых...

Особенно запомнилась наша встреча у Зины осенью 1938 года. Мы были уже студентами, а Нина вернулась в нашу школу заканчивать десятый класс, подрабатывала репетиторством по математике. Вечер в квартире Зины (мы-то звали ее по имени-отчеству, она нам в матери годилась, но Нина называла ее именно так) вспоминается как единственный "счастливый" за первые три месяца моей студенческой жизни. Громадная квартира. Много книг, рояль... большой теплый, приветливый уют. Были только Дезик, Эся и я. Эся читала свои английские стихи и свои же их переводы³.

Дезик много читал своего. Рылись в книжных полках. Вытаскивали то одно, то другое, альбомы, картинки, открытки, папки, тут же обсуждали, спорили, заедая яблоками и конфетами.

Запомнилось и помечено в дневнике: когда мы вышли от Нины и пошли к Кропоткинской на трамвай "А", шел снег, первый снег в этом году. Нина нас провожала. Подошли к остановке и тут вдруг, неожиданно для самого себя, я сказал: "Нинка, я тебя люблю". Никто не удивился, меня поняли - это не было банальным признанием, но это и не был просто знак дружбы. Нина с присущим ей детским порывом выпалила: "Толька! Ты очень хороший. Иногда хочется прийти к тебе просто так и все сказать, что на душе!" Было все так искренне, естественно, правдиво. Я смотрел на нее и действительно верил в тот момент, что я хороший. Но Эська обдала обоих

³ С ее английским еще в школе случился один смешной эпизод. Эся была единственной среди нас, кто знал английский. И вот однажды кто-то из класса, проходя мимо ее парты увидел книжку с надписью *Shakespeare*. Остановился и вслух громко раздельно так и прочел: *Шакеспепар*. Эська заилась в истерическом хохоте...

нас холодным душем: "Знаешь, Нинка, мне может, тоже хотелось бы прийти вот так и все сказать!"

Я услышал в этой фразе крик отчаянья. Эта полугорбатая, больная девушка, пережившая смерть отца, хотела любить, хотела жить "как все", любить по-женски. Как потом выяснилось, она давно, беззаветно и до конца любила Дезика. Но она не смела признаться в этом. Понимала, что это выглядело бы смешно и неприятно. На ее долю оставалась "суррогатная пища" - гофмановские сказки и поэзия. Они давали ей забытие и иллюзию, будто она не от мира сего, нечто отличное от обычной человеческой плоти. В них было ее спасение...

Мы сели в трамвай. А Нинка поплелась (именно поплелась, как только она умела это делать) обратно.

Нина Гегечкори, узнав, что я пишу мемуары, тоже порылась в своих "архивах". Нашла трогательную записочку из больницы от Лики Гордон, посланную за два дня до смерти. Обнаружила два письма от Эси Чериковер, присланных из Башкирии весной 1943 года, там Эся была в эвакуации. Отрывки из одного письма от этой прекрасной, несчастной девушки я позволю себе здесь воспроизвести.

"9.VI.43. Нинка, родная Гега! ... Твои слова (из письма) мне близки и понятны и потому, что я помню, знаю и люблю Тольку, и потому, что я все их (эти слова) или почти все, могла бы сказать о Дезьке, который мне сейчас близок и дороже всего на свете. Вчера я получила радостное известие от его родителей: Дезька награжден за отвагу и геройство после боя, в котором он был ранен 23.III. Сам он до сих пор не знает об этом, в части не знали его госпитального адреса и о награждении сообщили родителям, а не ему самому. Только бы это известие успело застать его в госпитале - скоро он снова должен ехать на фронт. И знаешь, Гегочка, хотя я и горда Дезькой и радостно мне думать, что он ко всем его прочим золотым качествам еще и силен духом (это наш Дезька-то, увалень, большой медвежонок, поэт), мне все-таки больше хотелось бы, чтобы война для него была уже позади.

...Дорогая, как хорош и благороден Толька, знали все, а вот, как по-настоящему хорош Дезька, знали лишь немногие. Я любила его и ценила его

всегда, помимо рекламы салона M-sell Маркович. И война доказала мою правоту. Был бы он только жив и не очень искалечен.

...Дезька просил передать тебе привет. Я написала ему об успехах Тольки и он ответил мне длинным хвалебным письмом по Толькиному адресу. "Я привык по нему проверять свою честность. И нет для меня большей радости узнать, что сквозь времена и расстояния мы пришли к одному решению", - пишет он. Напиши о нем Тольке, Нина, может быть и ему будет приятно узнать об успехах Д.Кауфмана. Он достоин Толькиной памяти и любви.

Мне кажется, Дезька достоин преклонения. Но ты не думай, Гегочка, что я повторяю твои слова. Просто Дезька, как и Толька, самые светлые, чистые, благородные, настоящие люди из всех, что встречались нам за наши годы сознательной жизни и "критического мышления". Мне хотелось бы сказать тебе, что я люблю, попросту люблю Дезьку, но это и в мыслях звучит для меня как кощунство.

...Были бы только живы наши ребята... Знала бы ты, какие пустые и плоские люди окружают меня и как мне недостает моих старых друзей. Еще раз обнимаю тебя и крепко целую. Всего тебе доброго. Передай привет Толе. Будь счастлива. Твоя Эся."

Эся умерла вскоре по возвращении из эвакуации в Москву в 1944 году...

С Ниной Гегечкори в мой первый студенческий год мы общались с помощью записочек, которые передавали ей и мне ее подруги - тоже студентки университета. Она мне "изливалась" во всем, что с ней происходило. Однажды сообщила, что ее пригласил школьный комсорг, ласково расспрашивал о жизни, как перебивается материально, предложил деньги. Она отказалась. Через некоторое время ее восстановили в комсомоле (еще одно из проявлений парадоксальности сталинского правления). Летом и осенью 1939 года я старался поддержать ее и как-то даже помочь в ее страстном желании поступить на физфак МГУ. При первом, обычном заходе ее завалили, сказав, что "у них есть более достойный материал". Нинка хотела поверить, что "более достойный" - значит более гениальный, хотя ясно было, почему ее не сочли "достойной". Мы с Дезькой сходили к Петраклу, полагая, что он либо что-то придумает, либо даже сможет помочь.

В дневнике у меня помечено: "Петракл сказал - пусть будет как будет, ничего тут не поделаешь..."

Ну что ж, о школе, видимо, пора заканчивать, задержался я на ней. Но это, наверное, самый существенный период в моем "становлении".

Июнь 1938 года. Сдан последний экзамен. Лучезарное состояние. Почти все в "ядре" - отличники. Куда хочешь, туда и поступай... без экзаменов. Побежали из школы почему-то к Бахметьевской (теперь пока - улица Образцова), может быть, потому что там жили многие из нас: Наташка, Вадим, Георгий, Дезик. Ливень и солнце. Скинули туфли, засучили штаны и шлепали, хохоча и брызгаясь, по мостовой.

На другой день был выпускной вечер. Все мы были еще в экстазе, еще не почувствовали, что у нас кончается, с чем расстаемся. Пришли загодя. Собрались в своем классе. Клавдию Васильевну подняли туда, на 4-й этаж в кресле. Она вся светилась. Кажется, это был самый любимый в ее жизни класс. Наверное, оно так и было на самом деле: все же видели, как она с 8-го класса, когда он в основном и сформировался, и на протяжении трех лет "отличала" нас от остальных. Есть фотография этого дня: мы вокруг этой уникальной в педагогическом мире тех лет женщины.

Официальный вечер был в зале. Пригласили родителей. Обаял всех Александр Ильич Безыменский. Спустились в столовую. И там, во всяком случае я, впервые в жизни выпили вина - мне за месяц до этого исполнилось семнадцать лет.

Так что же школа? При всем ее огромном и длительном воздействии на формирование каждого из нас, не думаю, что окончательно она "сделала" нас такими, какими мы "пошли дальше". Но она закрепила лучшие качества, отпущенные нам природой и прежним воспитанием. Она заложила в нас энергию совести, которая ограничивала, а то и подавляла в нас проявления худших наших качеств. Дала мощный старт большинству из нас на пожизненную дистанцию жадного самообразования по собственному выбору, а не по навязанной программе.

В этой школе мы познали (и стихийно выработали сами, может быть, благодаря редкому сочетанию характеров и умов), что такое настоящее качество человеческих отношений. Эта эмоционально-духовная ценность сохранилась в каждом непоколебленной до старости. Этим объясняется и то,

что мы надолго сохранили себя друг для друга. И не только продолжали встречаться до войны и после, а ощущали присутствие одноклассников 1-й Опытной в своей жизни на всем ее протяжении.

У каждого потом - в университете, в институте, на работе - образовывались какие-то компании, "местная" среда общения. Но заменить "ту нашу школу" ничто не могло.

Я буду еще не раз возвращаться к этому феномену, редкому и с точки зрения общественно-политической - то, что под крылом Клавдюши в нас сложилось и осталось, было совершенно чуждым окружавшей нас действительности.